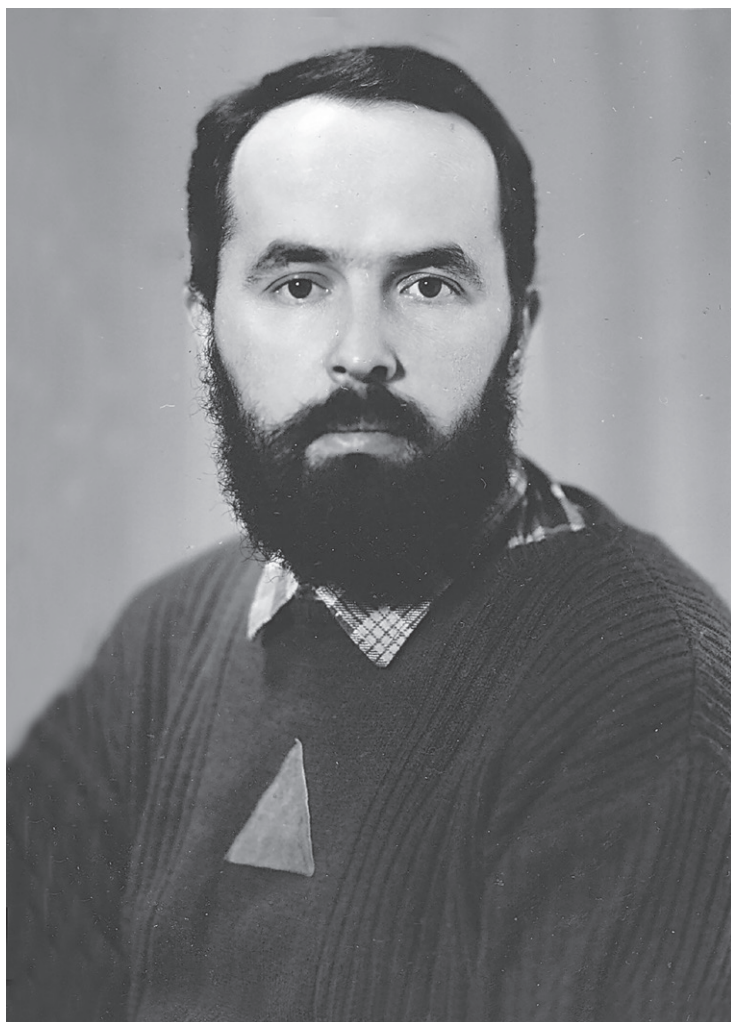

IN MEMORIAM

Вячеслав Анатольевич Кошелев
(20 сентября 1950 – 16 июля 2020)



Professor Vyacheslav Koshelev, a scholar of Russian literary history, member of the Literary Fact editorial board.

В.А. Кошелев родился в Вологде. Его отец Анатолий Александрович, фронтовик-танкист, продолживший службу после окончания Великой Отечественной войны, считал филологию несерьезной наукой. Когда Вячеслав Анатольевич стал публиковаться, он так отозвался об одной из его работ в разговоре с тещей сына, Александрой Андреевной Братковой: «Все они пишут про одно и то же, только разными словами. Главное, чтобы выразиться по-красивее». Однако он не препятствовал развитию наклонностей сына, а мать Галина Александровна, долгие годы работавшая в Вологодской областной библиотеке, поддерживала сына книгами.

Исследовательский склад ума проявился еще в школе. Однажды Вячеслав Анатольевич пришел на урок литературы, посвященный «Войне и миру», с одним из прижизненных изданий эпопеи. Увидев, что текст, который рассматривался на уроке, и тот, что у него – разные, он обратился к учительнице. Та не нашлась, как это объяснить. Ученика заинтересовали эти разночтения, и он выяснил, что издание все-таки «правильное» (принесенная им книга – этап работы Льва Толстого над романом). Рассказав об этом на одном из следующих уроков, слишком любознательный школьник заслужил единственную четверку в аттестате – именно по литературе (закончив школу с серебряной, а не золотой медалью).

В 1967 году Вячеслав Анатольевич поступил на историко-филологический факультет Вологодского государственного педагогического института. В это время определились его научные интересы – русская классическая литература, большую роль в его становлении сыграл Евгений Евгеньевич Соллертинский. После окончания института он был распределен в среднюю школу в небольшом городке Красавино (расположенном почти на границе Вологодской и Архангельской областей). Там он встретился со своей будущей женой Валентиной Александровной (в красавинской школе она работала учителем химии).

После года работы в школе (1971–1972) и службы в армии (1972–1973) Вячеслав Анатольевич женился, устроился в Череповецкий пединститут и поступил в заочную аспирантуру Пушкинского Дома.

После защиты в 1977 году диссертации о славянофилах Вячеслав Анатольевич начал продвигаться по служебной лестнице: в 1978 году он стал заведующим кафедрой русской литературы Череповецкого пединститута, а годом позже – проректором по научной работе. Служебная карьера его тяготила – проректорскую должность он оставил в 1986 году.

В начале 1980-х Вячеслав Анатольевич увлекся краеведением. С череповецким краем связаны имена трех известных деятелей культуры: поэтов К.Н. Батюшкова, Игоря-Северянина и художника В.В. Верещагина. О каждом из них у Вячеслава Анатольевича есть крупные работы. В 1987 году,

после публикации статьи «Пушкин и Хомяков», Вячеслав Анатольевич начал заниматься Пушкиным.

С 1994 года он стал заведовать кафедрой русской классической литературы Новгородского государственного университета. Заведование он оставил в 1997 году, а в 2016 году вынужден был уволиться и перейти на работу в Арзамасский филиал Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Там он проработал последние годы жизни.

Начало автобиографического очерка В.А. Кошелева впервые было издано в малотиражном новгородском сборнике (Дано и видеть и творить. Сборник стихов и прозы. Великий Новгород, 2016). В последние месяцы своей жизни Вячеслав Анатольевич переработал его, дополнив воспоминаниями о собственном вологодском детстве («Бабушка»). Последняя главка мемуаров («Освоение двора») осталась недописанной.

Анатолий Кошелев

В.А. Кошелев

Предисловие к Автобиографии

«Вологодская кровь»

Страшная повесть («эпопея») Ивана Шмелева «Солнце мертвых», ставшая реквиемом крымским обывателям, погибшим от «организованного» большевиками голода 1921 года, представляет собой серию жестоких сцен и ряд образов большевиков-чекистов, «что убивать ходят». В этой «галерее умертвий» контрастно выделяется одна, почти комическая, сценка.

Когда на многострадальный Крым налетели (весной 1919 г.) первые большевики и стали хватать «врагов народа», в число этих «врагов» попал и знаменитый столичный профессор Иван Михайлыч. Охраняют их революционные «матросы, дикари, и с ними гимназист из Ялты – командиром». Матросы всячески оскорбляют пленных – «дворянскую кость»:

«Не стерпел Иван Михайлыч обиды, схватил через дверь костлявой рукой матроса за синий воротник, – обомлел даже матрос от такой дерзости, крикнул только:

— Пу...сти... по-рвешь, черт!.. чего сдурел?..

— Как – чего? Да я сам вологодский, как ты... православный!

Как так?! Ужли и ты вологодский?! – обрадовался матрос, и его широкое, как кастрюля, дочерна загорелое лицо раздвинулось еще шире и заиграло зубами.

Как же не вологодский? Говору своего не чуешь? Смеются-то как про нас!.. “Ковшик менный упал на нно... оно хоть и досанно, ну да ланно – все онно!”

Ах, шут те дери... верно-прравильно! Ну, старик... наш, вологодской? Покажся мне... – радовался матрос, захватывая Ивана Михайлыча за плечи. – Правильный, наш! А... стой! Уезду?!

Чего там – стой... ну, Усть-Сысольскова уезду... ну?!

Ка-ак так?! И я тожа... Ус... сольскова? Н-ну... де-лааа...

Я сам земельку орал да в школу бегал... да вот и профессор стал, и книжки писал... и опять могу землю орать, не боюсь! А чего вы этого человека забрали, топить собираетесь?..

За-чем... мы его на расстрел присудили, за снисхождение...

Да вы, головы судачьи, глаза-то сперва мылом промойте...

Да ты чего лаешься-то, не боишься ничего, старый черт?!

Говорю – вологодской, весь в тебя! А чего мне бояться-то, милой? Я уж одной ногой давно во гробу стою... а вы вот, видно, сами себя боитесь, – мальчишку-молокососа себе за командира выбрали, стариков убивать! Да его еще за уши рвать нужно... я ему, такому, двойки недавно за диктовку ставил... Вы с него, сопляка, штаны-то попустите да поглядите: задница, небось, порота, не поджила!..

А тут еще подошли матросы. И уж что ни говорил им ялтинский гимназист, как ни взывал к революционному самосознанию и партийной дисциплине, вологодский матрос взял верх. Выпустил из сарая всех:

Ну вас к лешему!»

Ситуация действительно нестандартная. В разных в отношении к свершившейся революции лагерях оказались два земляка. Один – «дикарь», революционный матрос, руки которого по локоть в крови (ибо «безбашенные» матросы, отмечает Шмелев, отличались особенной бессмысленной жестокостью); другой – русский интеллигент. Как только они узнают о том, что оба «вологодские» (а узнать нетрудно – поговору!), так между ними рушатся социальные преграды. Как ни напоминай о «революционном самосознании и партийной дисциплине», «вологодское землячество» оказывается сильнее, и рядом с классовым сознанием становится провинциальное сознание, которое не позволяет давать в обиду того «своего», который вроде бы и не выглядит «своим».

Правда, Шмелев тут же оговаривается: «То было другое время, – другие большевики, первые. То были толпы российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться, путем неожиданным, через “пустяк”, быть может, даже через одно меткое слово, что-то такое, перед чем пустяками покажутся слова, лозунги и программы, требующие неумолимо крови. Были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, но они неспособны были душиить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы “нервной силы” и “классовой морали”. Для этого нужны были нервы и принципы “мастеров крови” – *людей крови не вологодской...*»

Станным кажется то, что в своем произведении, посвященном трагедии далекого от Вологды Крыма, автор, вовсе не вологжанин по

рождению и происхождению (кажется, никогда на вологодчине и не бывал!), столь сочувственно выделяет «людей вологодской крови», которые по определению не могут быть холодными убийцами («мастерами крови»). И это как будто не просто метафора.

Младший современник Шмелева писатель Варлам Шаламов был по происхождению вологжанином (хотя в Вологде провел лишь детские годы). Он указывал, что «ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь – Восточная и Западная – не имели такого особенного, нравственного акцента», как Вологда, и выделял целых «три Вологды». Та Вологда, из которой произошли персонажи «Солнца мертвых», – первая:

«Первая Вологда – это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из красивых русских диалектов, где вместо “красивый” говорят “баской”, а в слове “корова” не акают по-московски и не окают по-нижегородски, а оба “о” произносят как “у”, что и составляет фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями». Именно эти «фонетические неожиданности» сближают двух земляков из разных общественных классов.

Но дело не только в «говоре». Определение «вологодский» издавна предполагало представление об особенном человеческом типе: не «быстрый разумом», основательный, крепко стоящий на ногах деревенский или городской «хозяин», наделенный неповторимым взглядом на мир и имеющий совершенно особенное представление об этом мире.

Поэтому автор, родившийся в Вологде от вологодских уроженцев, заинтересовался: что же это за «*вологодская кровь*», которая по временам кипит в нем?

«Вологодское качество»

Тот же Варлам Шаламов, определяя «коренное» отличие Вологды от других локусов, указывает две особенные черты вологжанина: «первая Вологда – это *деревенское стяжательство и верная служба режиму*». Но эти две черты проявляются нетрадиционно и совсем не так, как проявляются привычные скопидомство и верноподданничество:

«Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет – на жирности молока это не отражалось.

Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера испытывал неуверенность в честной, христороливой Вологде.

Речь здесь идет как раз о «послереволюционной» Вологде 1920-х годов. От этого времени сохранились первые карикатуры Кукрыниксов – о том, как московские торговки на рынке тут же разбавляют привезенное молоко водой прямо из водопроводного крана. В самом деле: простейший способ «стяжательства» – это продать литр молока как два! Вологодским торговкам этот способ в голову не мог прийти. Они могли заломить за молоко цену, вдвое превышавшую московские – но разбавлять молоко водой просто не умели.

Я могу подтвердить точность этого наблюдения, хотя и родился в Вологде почти на полвека позднее, чем Шаламов. И дело не в каком-то особенном «христороливии» вологодского торговца, а в особенном осознании ими своего профессионализма. Если молочница будет продавать на рынке разбавленное молоко, про это молоко пройдет нехороший слух среди «своих» покупателей. И кто же его будет у этой молочницы покупать в невеликой Вологде? Ведь молоко – это понятный «продукт», а разбавленное молоко – это какой-то другой «продукт», имеющий к настоящему лишь отдаленное отношение. Какая же она молочница, если не может предложить *настоящего* продукта? Это профессиональное сознание сохранилось доселе: не случайно молочные продукты из Вологды и посейчас особенно котируются. Причем не те, которые произведены по «вологодским» технологиям (как знаменитое «вологодское масло») – а именно те, которые сделаны вологодскими людьми.

«Вологодский конвой»

То же касается и второй «вологодской» особенности – «верной службы режиму». «Подобно тому, – пишет Шаламов, – как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому, как калужане – землекопы, а ярославцы – торгаши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки. Выражение – “*вологодский конвой шутить не любит*” – вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов».

Вместе с тем, устойчивое представление о «вологодском конвое», которое вроде бы выглядит признаком «верной службы», тоже имеет существенное своеобразие: не таким уж «служаккой» был вологодский конвоир, и его житейская ориентация в этом отношении была гораздо осмысленнее. Вологодский обыватель всегда несколько отстраненно относился к теперешним властям (ну, сидят там у себя в конторах – и пускай сидят!). Но всегда особенно уважал *силу*. Вот этот обыватель (некто Л.Д. Александров) вспоминает особенные «удовольствия вологжан» во второй половине XIX столетия:

«Вологжане были большими поклонниками *драки*, в особенности простонародье, т.е. большинство, и очень часто устраивали в разных частях города кулачные бои. Дрались и взрослые бородачи, и мелюзга, разные подростки, преимущественно учащиеся. <...> Мещане и ремесленники устраивали бои на реке Вологде, где и сходились стенка на стенку, преимущественно на масляной неделе в период усиленного катанья с гор, кои, по заведенному обычаю, устраивались в разных пунктах города. Мелкие стычки происходили постоянно и летом на всех площадях <...> Обыкновенно бой начинали подростки, затем приставали взрослые и, наконец, выступали бородачи в качестве главных сил. Иногда роль ручных гранат играли тухлые яйца, которые запускались в физиономию врага, дабы на время вывести его из строя».

Драки эти происходят отнюдь не по злобе – по традиции. Кулачный бой в средневековой Руси был давней *игрой* – «потехой», распространенной в старой Москве. Можно вспомнить лермонтовскую «Песню про... купца Калашникова»: «Как сходилися, собиралися / Удалые бойцы московские / На Москву-реку, на кулачный бой...». По свидетельству историка, эти игры были вовсе не безобидными: «Зимой народ также в праздничные дни собирался на льду на кулачные и палочные бои. Охотники собирались в партии, таким образом составляли две враждебные стороны. По свисту обе стороны бросались друг на друга и бились жестоко, многие выходили из битвы изуродованными, других выносили мертвыми. Вступая в единоборство, кулачные бойцы предварительно обнимались и троекратно целовались» (М.И. Пыляев, «Старая Москва»). В этих «потехах» особенно ценились именно «удалые бойцы», по праву «красовавшиеся» перед толпою.

К концу XIX столетия в остальной России такие потехи ушли в прошлое – а в Вологде остались не только во времена Толстого и Достоевского (про которые и вспоминает автор), но и много позднее. Подобные ритуальные «драки» (один конец деревни – с другим) я сам наблюдал еще в свои студенческие времена (1960-е годы). В этих «ри-

сталищах» выявлялись и неформальные лидеры неформальных объединений, и основы того внутреннего «порядка» жизни, к следованию которому «вологодские люди» особенно тяготеют.

В этом «порядке» запросто устанавливались совсем не «христолюбивые» обыкновения. Тот же мемуарист указывает в качестве «характерной черты вологжан» – «своеобразное понятие о чужой собственности»: «Мелкое воровство было сильно развито и не считалось вовсе за порок, так как направлено было исключительно на съедобное. Украсть и не попасться считалось своего рода геройством». И далее рассказывается, как «шайки» молодых вологодских людей совершали бравады набеги на чужие огороды или фруктовые сады.

Но – обратим внимание – это «мелкое воровство», опирающееся на силу, имело свои пределы (только «на съедобное», отражающее понятную насущную потребность любого человека) и законы (не просто украсть – но при этом еще и «не попасться»)! На таких «локальных» представлениях формировались целые общественные группы – и когда приходила пора служить в армии (по традиции – конвоирами), эта группа представляла себя довольно оригинально. Воруют все. Общество воспринимается состоящим из двух частей. Те, кто «попался», становятся заключенными – а вершителями их судеб оказываются те, кто «не попался».

Все остальные – свободные – люди в этой «потехе» как будто не участвуют. К ситуации «игры» вологодские люди издавна относились очень серьезно. В игре нужно соблюдать «правила», много более серьезные, чем те, что прописаны в христовом учении. Они и соблюдали – со всей истовостью «удалых бойцов». И действительно: «шутить не любили». Подобные правила игры, например, не терпели людей «отмороженных» или «безбашенных». Но определяли опять-таки особенную логику поведения.

Варлам Шаламов припоминает случай с «вологодским конвоем», описанный в одной из статей П.Е. Щеголева из журнала «Былое» (1906. № 7). Эта статья в свое время много шумела в России; ее автора, известного историка, даже приговорили к двухмесячному тюремному заключению. А историк лишь опубликовал дело о революционной пропаганде среди караульной службы самой страшной тюрьмы империи – Алексеевского рavelина Петропавловской крепости.

Там содержался безмянным узником знаменитый «созидатель разрушения», автор «Катехизиса революционера» Сергей Нечаев. Его охрана, традиционно состоявшая из вологодских крестьян, была, казалось, абсолютно далека от всякой «революционной пропаганды» и не сочувствовала ни идеям свободы, ни царубийству, ни перемене

власти – ничему такому. Дело происходило на рубеже 1870–1880-х годов, в пору особенно активной «охоты на Александра II», предпринятой народовольцами: произошли взрывы царского поезда, покушение Соловьева на жизнь государя, взрыв в Зимнем дворце и т.п.

К сидевшему в одиночке Нечаеву пришел – с предложением оказать услуги полиции – сам шеф жандармов генерал Потапов (который для «вологодского конвоя» казался немислимо большим «начальством», первым человеком после царя). И таинственный безымянный узник вдруг отвесил генералу пощечину – да такую, что у того пошла кровь носом и изо рта. Естественно, узника приказано было избить, посадить в цепи и т.д. – но «вологодский конвой» получил указание: не до смерти и без незаживающих увечий...

«Конвой» пришел в недоумение: страшный обидчик высокой персоны – продолжал жить! Кем же он мог быть? По меньшей мере, царев брат или близкий родственник другой важнейшей особы. Значит, его лучше не обижать: за ним сила! А лучше даже – с ним дружить... Словом, через полгода караульные солдаты уже принимали таинственного узника за лидера – и стали даже передавать письма от Нечаева к народовольцам, и участвовать в подготовке задуманного революционером побега... «Вологодский конвой» стал безропотно подчиняться узнику.

В романе Юрия Трифонова «Нетерпение» сконструирован ход мыслей охранника, который, передав записку, разговорился «и успел рассказать, что “наш орел” – так они зовут его между собой – всё про всех знает, про всё домашнее, деревенское, не хуже ведьмака. Сам-то в камере, а народом оттуда командует. Я, говорит, сказал, чтоб моя партия дворец взорвала? Так и вышло. Приказал в царя стрелять? Стреляли. А его и начальство рavelинское боится, потому что его никакой мор не берет: два года кандалы таскал, мясо гнить стало, а он – живой, нетленный. Вот и боится: потому что, неровен час, прикажет – к ногтю. Ему наследник престола подчиняется. А царя, говорит, я всё одно изведу, потому что он народную измену сделал...» Словом, конвой предстал во всей наивности, фатализме и безоглядной доверчивости к заключенному, «загадочному человеку» – и сильному лидеру.

Внешне этот «вологодский конвой», славный своей исполнительностью и твердостью, выглядел вполне «верноподданным». Но за этой внешностью скрывалось свое представление о мире. Мир в глазах вологодского мужика предстал очень нестойким и постоянно переменчивым, в котором неизменно сменялись самые разные «силы». Самый униженный заключенный – если он демонстрировал силу – мог быть вознесен в неведомые высоты. И его «конвою» надо не упустить шанса. Жизнь – игра; надо уметь поставить на нужную карту.

Солдаты, охранявшие узников Алексеевского рavelина, когда вскрылась история с «пропагандой», попали под суд и получили «каторжные» сроки. Но, кажется, восприняли их мужественно: в драке и «игре» надо уметь и проигрывать.

«Вологодская ссылка»

А историк Павел Щеголев, опубликовавший эти документы, сам недавно перед тем отбывал ссылку в Вологде – и знал, о ком и о чем писал. Дело в том, что пришедшая извне вологодская ссылка серьезно повлияла на формирование аборигенов, «людей крови вологодской» – Шаламов даже назвал ее «третьей Вологдой»: «Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но опровергавшую туман неопределенности во имя зари надежд».

Ссылка в Вологду была «нетяжелой»: с появлением железной дороги Вологда (ставшая крупным железнодорожным узлом) оказалась буквально рядом с обеими столицами Российской империи. И ссылали туда больше по традиции, зародившейся еще в «дожелезнодорожные» времена: тут побывали и поляки, осужденные за восстание 1830–1831 гг., и издатель журнала «Телескоп» Н.И. Надеждин, осужденный за публикацию «Философического письма» Чаадаева, и автор крамольной песенки «Русский император...» В.И. Соколовский. Многих ссыльных, правда, надлежало отправлять дальше на восток, в уездные вологодские города Тотму, Усть-Сысольск, Яренск и пр. – но большинство сосланных (пользуясь любезностью либеральных губернаторов и столичными связями) умудрялись-таки оставаться в Вологде.

А поскольку ссылка была «нетяжелой», то и преступления сосланных были не уголовными – и не наказуемыми каторгой либо Сибирью. Чаще попадали в Вологду «за язык», «за сочувствие», «за пропаганду» или за другие мелкие политические проступки. Эти ссыльные легко входили в круг местной интеллигенции – и даже определяли его состав и направленность. Вот в 1868 г. в Вологду (на родину!) был выслан студент первого курса Петербургского военно-юридического училища Н.А. Иваницкий:

«Вологодское общество в то время, о котором я рассказываю, делилось на следующие кружки: знать, т.е. масса потомственных дворян: Дружинины, Левашовы, Волконские, Брянчаниновы, Волоцкие, Зубовы и проч., и проч.; чиновничество, к которому примыкало и купечество; поляки, так называемая польская партия, и, наконец, передовые. Это, впрочем, мое название. Сюда принадлежали все по-

литические сосланные, человек до шестидесяти, и множество лиц из разных сословий».

Стоит представить себе Вологду, небольшой губернский центр в 20–30 тысяч человек, из которого едва десятая часть входит в выделенные мемуаристом четыре «интеллигентных» кружка, – как сразу же удивляешься. Ведь два из четырех кружков – ссыльные. Большое землячество из ссыльных поляков (они находились «под покровительством губернатора Хоминского, которому удалось устроить в Вологде католический костел в особом для того купленном доме»). Да и собственно «передовые» (среди них Н.В. Шелгунов, П.Л. Лавров, Г.А. Лопатин, Л.Ф. Пантелеев и т.п. – но чаще просто «фразерствующие революционеры») – тоже не оставались без покровительства. Вот свидетельство вологодского учителя Н.Ф. Бунакова:

«Все это пестрое пришлое население “политических страдальцев” образовало один кружок, к которому приставала и местная молодежь. За этим кружком зорко наблюдал новый жандармский штабс-офицер, в это время приехавший в Вологду, полковник Н.Е. Зорин, очень толстой корпуленции, но очень тонкого ума и характера, притом несомненно умный, начитанный и даже симпатичный человек. Зато к этому кружку благосклонно относился вице-губернатор Иван Иванович Пейкер, а особенно его либеральная жена, Марья Григорьевна Пейкер. Это была живая миниатюрная барыня, блиставшая остроумием и способностью подчинять себе самых неукротимых людей – все делались послушными и мягкими исполнителями ее воли, когда она этого хотела: и князь Гагарин, чистокровный и пустопорожний аристократ, всю жизнь занимавшийся дебошами, и николаевский отставной генерал Н. Брусиллов, бывший несколько лет тому назад начальником вологодского ополчения, и поднадзорный учитель гимназии В.М. Пржибыльский, через несколько времени бывший крупным деятелем польского революционного правительства, и радикал хохол Бекман».

В последнем воспоминании перед нами как будто предстает вся «веселая компания» из «Бесов» Достоевского – только не в «романной», а в реальной жизни маленького губернского города. Естественно, общая обстановка «ссыльной вольницы» не могла не влиять даже и на далекого от городских «верхов» вологодского обывателя... В начале XX в. эта «вольница» неизмеримо расцвела. Вот в 1900 г. был сослан в Вологду будущий философ Николай Бердяев, позже писавший в «Самопознании»:

«Вологда была в это время центром ссылки, и на моих глазах через Вологду прошло огромное количество ссыльных, главным образом социал-демократов, изредка социалистов-революционеров. Ссыльные

большей частью направлялись в уездные города Вологодской губ., иногда в Архангельск, некоторые возвращались из ссылки через Вологду. Я мог делать много наблюдений. Все почти заходили ко мне, в гостиницу “Золотой якорь”, где я жил».

Заметим, что «Золотой якорь» был *лучшей* вологодской гостиницей – Бердяев действительно не испытывал неудобств и жил «баринном»: «...мне даже нравился этот старинный северный городок, очень своеобразный и для меня новый, так как я не знал великорусского севера». И – важное замечание:

«В Вологде я чувствовал себя очень свободно, в некоторых отношениях свободнее, чем в Киеве. Полиция нисколько не беспокоила меня».

И далее: «...в Вологде в те годы были в ссылке люди, ставшие потом известными: А.М. Ремизов, П.Е. Щеголев, Б.В. Савинков, Б.А. Кистяковский, приехавший за ссыльной женой, датчанин Маделунг, впоследствии ставший известным датским писателем, в то время представитель масляной фирмы, А. Богданов, марксистский философ, и А.В. Луначарский, приехавший немного позже меня. Я принадлежал к “аристократии” вместе с Ремизовым, Щеголевым, Савинковым, Маделунгом. А. Богданов и А. Луначарский возглавляли “демократию”». Ссылный «аристократ» Бердяев был «независим в своих суждениях», «свободен в своей жизни» и связан «с местным обществом», в котором выделял «чиновников, скорее либерального направления».

А.В. Амфитеатров, тоже не миновавший ссылки в Вологду, вспоминал потом, как она «сформировала» большевика Луначарского. Тот «был самую природою предназначен на то, чтобы в университете получить какую-либо гуманитарную приват-доцентуру и в качестве либерального лектора с неопределенно социалистическим душком сделаться любимцем студентов и студенток первых семестров». А «царское правительство совершило великую глупость тем, что пустопорожнею ссылкой в Вологду и Тотьму отвлекло Луначарского от его природного назначения, свело его там с революционерами действия и дало, таким образом, ему возможность вообразить самого себя деятельным и ужасно опасным революционером».

По закону парадокса, эта «пустопорожня» ссылка в Вологду, заставившая несостоявшихся «приват-доцентов» вообразить себя «опасными революционерами», нестандартно воздействовала и на вологодского обывателя, и на «вологодский конвой».

Сын вологодского крестьянина Иван Ермолаев (в будущем – «видный партийный и государственный деятель»), собиравшийся «выйти в люди», поступил в Вологодскую земскую фельдшерскую школу на

полный пансион – и сразу столкнулся с «большой волной ссыльных» (он, кроме упомянутых, называет еще много имен социалистов и будущих кадетов: «Саммер, Тучапский, Ауссем, Бляхер, Третьяковы, Бабкин, Шен, Струмилин, Фомин, Немцов, Камаринец, Квиткин и др.»). Он констатирует, что «имелся многочисленный слой распропагандированных рабочих, служащих и учащихся».

С легкой руки очередного «сочувствующего» губернатора (Ладженского) в Вологде «началась эпоха докладов или, как это тогда чаще называлось, рефератов»: «Одним из первых выступил с рефератами А. Богданов на темы об энергетическом методе, о познании с исторической точки зрения и др. Выступали с докладами также Кистяковский, Бердяев, А. Суворов. Публики собиралось на эти доклады до 50–60 человек. Почти после каждого доклада бывали прения». Правда, крестьянин тут же замечает, «что большинство трактовавшихся тем было трудно для понимания даже той более или менее квалифицированной публики, которая бывала на собраниях...»

Но дело ведь не в понимании, а в том, что посещение «рефератов» сделалось престижным и модным – будто посещение театра... Сидевший там молодой вологодский фельдшер с удовольствием ощущал свою причастность к чему-то значимому и «высшему». Потом, в годы русско-японской войны, «эпоха докладов» сменилась «эпохой банкетов, где выступали как либералы, так и социалисты». И пошло, и пошло... Фельдшер потихоньку понял, что «не боги горшки обжигают» – и перебрался в Москву. В 1920 г. мы видим его уже на руководящем посту в Наркомате народного просвещения...

А «вологодский конвой», смотревший на эти «превращения» несколько сбоку, тоже не мог не ощущать перемен, происходивших в привычном мире. По существу, тот «порядок», который привык соблюдать вологодский человек, – на его глазах рушился. Но ведь и в «разрушенном» мире всегда есть, кого охранять и конвоировать – в этом деле важно не «заиграться» и не «задружиться» с тем, кого охраняешь (как «заигрались» охранники Нечаева). Единственная возможность человеческих отношений для «вологодского конвоя» сконцентрировалась в сознании «земляческой» близости к тому, кто вышел оттуда, откуда и ты.

«Вологодские болота»

Тем более, что и «земля вологодская» как будто не была особенно завидной или притягательной. Даже и к самому губернскому центру –

ее «визитной карточке» – отношение жителей было либо негативным, либо ироническим:

«Вологда построена на болотах, причем довольно топких, вследствие чего влаги здесь всегда избыток: после дождей всюду пестрят огромные лужи – на площадях, возле домов, в садах и огородах – на коих полощутся обывательские утки. Местами верхний тонкий слой почвы, искусственно укрепленный, лежит на массе жидкой грязи и при ходьбе по нем колышется. Иногда он трескается или проламывается и грязь изливается наружу. Такие зыбучие места встречались здесь не только по окраинам города, но даже и в центре его». Так вологодский уроженец, любящий свой город, описывает его природную топографию.

Какова «болотистая» природа – таков и внешний облик: «Дома в городе в общей массе преобладали деревянные, небольшие, в один и два этажа, с балконами и верандами. Каменных было десятка три-четыре, и все они в большинстве случаев были заняты или присутственными местами, или же учебными и городскими учреждениями, частных – весьма мало. <...> Улицы города, довольно прямые, были плохо вымощены булыжником, но далеко не все, причем содержались очень небрежно. Отсутствие хороших сточных канав делало то, что в дожди грязь заливала сплошь улицы и обращала их в болота, а в жаркую погоду грязь обращалась в пыль и при сильных ветрах носилась по городу и обволакивала его своеобразным туманом. Большинство городских площадей вовсе не были вымощены и весной и осенью превращались в топкие болота, крайне неудобные для всякого рода передвижений».

И далее: «Характерной чертой Вологды являлись узкие деревянные мостки, взамен панелей, сохранившиеся в полной неприкосновенности и поныне. Ширина мостков была такова, что двое встречных пешеходов с трудом могли разойтись; кроме того, уровень мостков против каждого дома был разный, вследствие чего ходьба по ним ночью требовала особого навыка во избежание падения или вывиха, в особенности, если принять во внимание проломы и провалы, встречавшиеся на каждом шагу. Так как подпочвенной воды здесь всегда наблюдался избыток, то все канавы, непременная принадлежность каждого дома, всегда были полны грязной воды, которая в жары зацветала, гнила и издавала своеобразный аромат». Подобная картина городских улиц рождала своеобразную поэзию, зафиксированную, например, в «вологодском» стихотворении Константина Симонова: «В домотканом деревянном городке, / Где гармоникой по улицам мостки...»

Наружный облик города определял и бытие жителей, постоянно «обывавших» в Вологде: «Строго говоря, общественной жизни и об-

щих интересов у жителей Вологды и в помине не было; все сидели по своим углам и все интересы каждого заключались, главным образом, в изыскании способов для удовлетворения своих насущных потребностей; жили по поговорке: “День прошел, и слава Богу!” Если же обывателям иногда и приходила фантазия выбраться из своего угла, то они группировались в небольшие кружки, чуждавшиеся и злословившие друг о друге. Скука, сплетни и нелепые слухи царили невозбранно во всех слоях местного общества. Несмотря, однако же, на это, вологжане истари отличались редким гостеприимством и хлебосольством, хотя эти прекрасные качества и сводились преимущественно к чае- и винопитию и истреблению съестного в гоме-рических размерах».

Все эти нелестные и «нелюбезные» отзывы о Вологде принадлежат Леониду Александрову, сыну мелкого вологодского чиновника, в юности уехавшему в Петербург и ставшему там известным журналистом. И – странное дело! – этот вологодский «беглец» почему-то вспоминает собственные детские годы (окруженные вологодской грязью, зловонием, злословием, «нелепыми слухами» и «до одури однообразной жизнью») с необъяснимой ностальгией. Перед ним как будто возникает образ земли, воплощавшей «потерянный рай», заброшенный в глуши северных болот.

Вот он проговаривается о том, что «жизнь в Вологде была баснословно дешева»: многие чиновники умудрялись жить без долгов, получая жалованье 7-8 рублей в месяц, а жалованье в 25 рублей почиталось уделом людей обеспеченных. Он даже с тоской перечисляет, что сколько стоило: «Так, например, лучший сорт мяса продавался по 5-6 коп. фунт, телятина – 3-4 коп., русское масло – 18 коп., дичь: 30-35 коп. – глухарь, 20 коп. – тетерев и заяц, 20 коп. – пара рябчиков, утки летом: 10 коп. – кряковая, 5 коп. – чирок и т.д. Рыба, зелень, разные ягоды и грибы – очень дешевы. Молочные продукты были отличного качества, доставлялись на дом из подгородних деревень в оригинальных берестяных бураках по цене 5-6 коп. Конечно, о какой-либо фальсификации тогда и понятия не имели».

Вот он с ностальгией вспоминает «летние удовольствия вологжан»: пешеходные прогулки по городским садам, в подгородные села и в загородные леса, особенно прогулки на лодках по «быстростоячей Вологде» (эта городская река петербуржцами сравнивается с Фонтанкой), охоту и рыбалку: «ибо дичи и рыбы под Вологдой водилась масса». Особенно выделяет мемуарист «детскую свободу». Живя в спокойном, «сонном городе», «родители не обращали никакого внимания на воспитание детей, предоставляя им полнейшую свободу

в выборе удовольствий, вследствие чего среди юнцов была сильно развита уличная жизнь со всеми ее прелестями. Не чувствуя над собой родительской опеки, дети круглый год проводили под открытым небом и в летнее время по целым дням странствовали за городом...»

«Вологодский театр»

Но более всего удивляет петербургского журналиста странная внутренняя «театральность» вологодской жизни, которая кажется самой яркой приметой этого города, своего рода *genius loci*. Так, на святках в Вологде все городские жители очень активно занимались «ряжением»: передевались в разные костюмы – так, чтобы никто не узнал их обличий: «Из всех рождественских удовольствий самым излюбленным для вологжан считалось маскирование, которое выражалось в том, что молодежь обоего пола, разодетая в различные костюмы и маски, разъезжала по знакомым, интриговала их, а, главное, плясала до одури, лишь бы имелось хотя самое жалкое подобие музыки. Этими домашними маскарадами увлекались на святках решительно все, от мала до велика, и я мог бы привести десятки солидных, пожилых людей, которые сами если и стеснялись маскироваться, то принимали всегда самое живое участие в этом удовольствии жизнерадостной молодежи, устраивая вечеринки, добывая костюмы и пр. <...> Самые закоренелые бедняки, нередко многосемейные, являлись вместе с тем и самыми изобретательными людьми по части этих удовольствий, как бы оправдывая поговорку “голь на выдумки хитра”».

Это «маскирование» было ориентировано именно на театральное поведение: «интеллигентная молодежь, в особенности из т.н. аристократии, желая во что бы то ни стало не быть узнанной, нарочно рядилась в самые дешевые, простые костюмы (лапотника-мужичка и пр.) и старалась сообразно им держать себя и напропалую дурачиться, сбивая с толку хозяев и многочисленных гостей. <...> При этом, чтобы не быть узнанными, приходилось менять манеры, голос, походку, вообще употреблять все средства, чтобы ввести в заблуждение интригуемое лицо, не обнаруживая себя. В этом, собственно, и заключался смысл маскирования».

Странной святочной потехе вологжан мемуарист посвящает огромный очерк, детально описывая и сложную («тайную»!) подготовку к ней, и костюмы, в которые любили рядиться участники, и разные проделки, совершавшиеся ими в этих костюмах, и общий

восторг, когда какой-нибудь «играющий» умел остаться неузнанным в этом спектакле. В представлении столичного журналиста Вологда оказывалась городом внутренне «театральным».

При этом тот театр, который существовал в губернском городе издавна, сам Александров называет «довольно жалким». Это не совсем так.

Первые театральные представления проходили в Вологде еще в 1780-е годы. В первой половине XIX века был выстроен городской театр, который располагался в самом центре: между гимназией, семинарией и реальным училищем. Это был скромный деревянный двухэтажный «теремок», украшенный затейливой резьбой, – и поначалу очень привлекательный. Но к началу XX века он устарел, и один из проезжавших Вологду путников в 1907 г. помянул его разве что в связи с пожарной опасностью: «Упомянув о пожарной дружине, невольно вспомнишь и вологодский театр – большой костер грязных дров! Можно, впрочем, утешаться тем, что в настоящее время на бульваре, носящем имя Дворянского, строится прекрасный каменный Народный дом, и театр, может быть, упразднится мирно, без помощи огня и пожарной команды». В эти же годы в Вологде открыли шикарную – с колоннами – баню, и в ходу оказалось острое словечко: «В Вологде театр как баня, а баня – как театр!»

Этот неказистый театр и привлекал племя провинциальных актеров. Геннадий Несчастливцев в «Лесе» Островского пробирается «из Вологды в Керчь», почитая Вологду в числе самых «театральных» городов (рядом поминаются Полтава, Ставрополь, Тифлис, Кишинев, Кострома, Ярославль, Тверь...). «Именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание, и помощь, и поддержку», – замечает по этому поводу В. Шаламов. И далее:

«В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты – передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологдой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами – гастрوليрующими пророками столичной и провинциальной сцены».

Неказистое здание деревянного театра сгорело-таки в начале 1930-х годов. Я его не застал – и сам посещал помянутый выше Народный дом (куда Вологодский театр сразу после пожара переселился), а потом и специально выстроенное новое здание, выросшее на месте большой

городской лужи. Там, конечно, труппе было куда привольнее. Но почему-то и пятьдесят лет спустя вологодские старожилы с особенной тоской вспоминали тот самый, ничем не выдающийся, деревянный театр...

Дело, впрочем, не в театре как культурном заведении. Гораздо важнее для «вологодского» сознания оказывался тот «театр в себе и для себя», который испокон веку сопровождал их скучное северное, лишенное особенных удовольствий бытие. Этот «естественный» театр, становясь желаемой забавой, мог «разукрасить» действительную серенькую жизнь. Тот же Л. Александров, описывая вологодские святочные развлечения, отмечает: «...из мужских костюмов наичаще встречались: простого крестьянина – лапти, онучи, синяя посконная рубаха и шляпа-“гречишник” при кудельном парике, стариковский – при обычном платье белый кокосовый парик, борода и нос, Гамлета, Мефистофеля, Зибеля (студента из “Фауста”), еврея, турка, старинный польский, клоуна, домино, капуцина, гусарский и пр. <...> Костюм мужичка-лапотника обыкновенно надевали самые лучшие танцоры, удивлявшие публику своим поразительным искусством выделявать всевозможные фокусы в лаптях. Между дамскими костюмами преобладали: домино, цыганский, польский, чертенка, день и ночь, зима, феи, Офелии и т.п. Вообще по части костюмов вологжане пускали в ход всю силу фантазии и нередко сочиняли, что только взбредет в голову, лишь бы было пестро и забавно».

В. Шаламов, чье возмужание пришлось уже на «некалендарный XX век», изгнавший из быта людей «святочную» театральность, вспоминал уже иные формы вологодского «театра для себя»:

«Я хорошо помню февральскую революцию – как легко рухнул огромный чугунный орел, повязанный канатами и сорванный с фронтона мужской гимназии.

Помню и октябрьский переворот – в Вологде более будничней, чем свержение самодержавия, но в то же время и более значительный по разговорам взрослых, по тревоге общей...

Я хорошо помню Кедрова – командующего фронтом, помню его вагон. Помню латышей – в синих галифе, танцующих в городском саду без дам, друг с другом...

Едва кончив готовить уроки, я принимался за таинственную игру... щепками, спичечными коробками и разыгрывал про себя Гоголя, Пушкина и особенно Гюго и Александра Дюма...

Этот театрализованный пересказ всего прочитанного длился все детство». Вологодская «театрализация» (даже и деревенская!) основывалась на двух «театральных» психологических данностях, привнесенных в быт тихого города помянутыми гастролерами, «про-

фессиональными учителями жизни». Первая – из шекспировского «Гамлета» (в переводе Н.А. Полевого): *«Весь мир – театр, а люди в нем актеры»*.

В самом деле: «вологодский» человек очень рано приучился жить как будто не в настоящем мире, а в мире «большой сцены» – да еще и с открытой «четвертой стеной», из-за которой за тобой постоянно наблюдают и оценивают «соответственность» твоего поведения неким не вполне ясным «правилам». Поневоле приходится «актерствовать» и «маскироваться» – так, чтобы не быть узнанными. То есть – «менять манеры, голос, походку, вообще употреблять все средства, чтобы ввести в заблуждение интригуемое лицо, не обнаруживая себя». Что поделать: хочешь жить – умей изобразить и Мефистофеля, и «мужичка-лапотника». Тем более, что изобразить последнего – куда как несложно, особенно если являешься «хорошим танцором». Кажется, именно это ощущение внутренней «театральности» помогло «людям крови вологодской» пережить в XX столетии ужасы ГУЛАГа. Тот же Шаламов все двадцать лет жизни посреди этих ужасов воображал себя в «театре»: то, что происходит – это не с тобой, а с тем, кого ты «играешь»; это не всерьез и ненадолго; всё это когда-нибудь кончится...

Другая житейская психологическая данность – из «Пиковой дамы» Чайковского: *«Что наша жизнь – игра!»*. Впрочем, знаменитую арию Германа лучше привести в более широком контексте:

Что наша жизнь – игра! Добро и зло – одни мечты!
Труд, честность – сказки для бабья;
Кто прав, кто счастлив здесь, друзья?
Сегодня ты, А завтра я!
Так бросьте же борьбу! Ловите миг удачи,
Пусть неудачник, плача, Клянет свою судьбу...

В опере Чайковского эту арию исполняет герой, находящийся на грани безумия. «Человек крови вологодской», живущий в атмосфере «маскирования», не видит в подобных утверждениях ничего необычного. В «театральном» мире не может быть ни добра, ни зла, ни правды, ни неправды – всё это декорации, «мечты» или «сказки для бабья». В этой жизни ни к чему «бороться» или «петлять» в поисках лучшей доли – всё решает «удача», которая приходит по очереди: «сегодня ты, а завтра я». Такова житейская «игра», которую важно не проиграть.

Возвратимся к начальному эпизоду из «Солнца мертвых» Ивана Шмелева. В поведении двух вологодских людей, описанном там, проявилась прежде всего та же странная театральность. В необычных обстоятельствах 1919 года столкнулись два разделенных в общественном отношении земляка: революционный матрос из «вологодского конвоя» – и вышедший из глухой деревни столичный профессор, который волею судеб оказался в полной власти у этого «конвоя», готового поставить любого «эксплуататора» к стенке. Но оба, в сущности, находятся в положении «ряженных»: «актеров» того театра, каковым является «весь мир». Оба – из «мужичков-лапотников», попавших на разные роли из находящихся в глухом вологодском уезде соседних деревень. Просто костюмы на них сейчас разные.

Происходит узнавание и «срывание масок», знаменующее своеобразное «актерское братство». Кстати подходят и «зрители». Среди них есть как те, кто симпатизирует этому «вологодскому театру», так и ниспровергатели «театральности» – вроде ялтинского гимназиста, который взывает «к революционному самосознанию и партийной дисциплине», никаких «театров» не признающей. Наличие зрителей усиливает эффект «актерства» – и «вологодский конвой» переосмысливает драматическую коллизию, предлагая неожиданный финал: «выпустил из сарая всех». Главной «победительной» силой такого поступка оказывается именно «вологодская театральность», которая берет верх над всем остальным.

Это не просто сочувствие «земляку»: за ним стоит серьезная житейская философия. Поскольку для «театрального» человека «наша жизнь – игра», то он должен сознавать и «острые углы» этой самой игры. Любая «игра» основана не только на мастерстве, но и на житейском «везении»: «сегодня ты, а завтра я». И как-то спровоцировать или предсказать это везение – «играть наверняка» – невозможно. В нашем примере сначала «повезло» тому выходцу из крестьян, который «выбился» в профессору: сумел переменить жизнь, получать большое жалованье, приобрести дачу у теплого моря и т.п. Потом временное «везение» перешло к матросу, который на короткое время получил права командовать «врагами народа», безнаказанно грабить и убивать. А что – потом?

«Театральный» человек если не понимает, то нутром чувствует неустойчивость и «нестройность» той роли, которую играет. К тому же он всегда готов к театральному *порыву*, который всегда особенно ценился в актерской игре: «Ну вас к лешему!». И никогда не станет бездумным и холодным «палачом»: такое призвание с театром просто несовместимо.

Бабушка

Улица Подлесная

Я появился на свет 20 сентября 1950 года в Вологде, в родильном доме «на Свешниковской улице» – холодном трехэтажном здании, никак в моем сознании позже не запечатлевшемся. Тем более, что эта самая Свешниковская была совсем на другом конце невеликой Вологды.

А первые десять лет жизни я жил на улице, которая в год моего рождения еще носила романтическое название «Подлесная», хотя вроде бы никакого «леса» рядом и не было. Соседняя параллельная Подлесной улица называлась «Калашная» – тоже непонятно почему: знаменитая вологодская полицейская (а в мои времена – пожарная) каланча (упомянутая еще В.Г. Кололенко) была как раз на углу Подлесной, а не Калашной.

Та часть города, где располагались обе улицы, называлась Заречье – и находилась на левом берегу реки Вологды. Всё Заречье было невелико: оно завершалось улицей с еще более романтическим названием «Заболотная», а за нею как будто бы должны были начинаться болота... Впрочем, вся эта романтическая топонимия в мои сознательные времена уже не существовала: Подлесную переименовали в улицу Горького, Калашную – в Гоголя, а Заболотную – и вовсе в Карла Маркса...

Через Вологду-реку в Заречье были два моста: старинный деревянный мост (он, как водится, назывался «Красный мост»), блистательный памятник плотницкому искусству вологжан, служивший по назначению не меньше века. Этот мост был разобран в 1970 году – и сохранился разве что на двух-трех кадрах известного фильма «Достояние республики». Смотришь сейчас эти кадры – и не веришь, что ты действительно ходил по этому памятнику: ничего подобного нигде в России сейчас не увидишь.

Другой мост через Вологду назывался «Горбатый мост» и был основной транспортной артерией города: выходил из центра на улицу Чернышевского (перпендикулярную Подлесной и Калашной), за которой начинался большой Архангельский тракт на север. Он был сооружен тоже на месте какого-то старого моста в 30-е годы XX столетия; причем, ходили слухи, что строителей его расстреляли «за вредительство». Не знаю, в чем заключалось «вредительство», но этот мост без фундаментальной реконструкции выполняет свои функции и доньше.

Сразу за Заболотной улицей располагалась тюрьма – знаменитый Вологодский централ: за глухим кирпичным забором несколько

больших мрачных зданий красного кирпича со множеством маленьких окошек. Бабушка вспоминала, как давно, еще «до моей эпохи», на стене тюрьмы красовалась большая, едва ли не золотыми буквами, стихотворная надпись:

Эти стены воздвиг капитал.
При царе их попы освящали веками.
Коммунизм победит преступления тьму,
И фундамент сотрется годами.

В течение многих лет я потом наблюдал (слава Богу, снаружи!) этот замечательный централ, живо свидетельствовавший о том, что искомый всеспасительный «коммунизм» победит еще не скоро: количество мрачных зданий всё прибавлялось, а старые строения всё совершенствовались – то глухие окна появлялись, то новая – еще повыше – каменная стена с колючей проволокой. Наш сосед дядя Гена Сараев, здоровый добрый мужик с психологией «вологодского конвоя», служил в этой тюрьме надзирателем – и благополучно потом ушел на пенсию, а «фундамент» так до сих пор и не стерся.

Еще чуть дальше – и вовсе на окраине Вологды – располагались Красные казармы, строенные тоже еще «при царе» и потому очень прочные. Мне потом довелось проходить в этих казармах срочную службу – почему-то там сохранялось множество рудиментов прошлых лет: чуть перестроенные конюшни (превращенные в клуб и солдатскую столовую) и даже наружная коновязь возле плаца, хотя служил я совсем не в кавалерии, а, напротив, в дивизионе оперативно-тактических ракет...

А сразу же за Красными казармами заканчивался условный «город» и начиналась «деревня» – подгородный совхоз «Заречье». В нем я бывал единственный раз: в третьем классе нас в этот совхоз водили на экскурсию и демонстрировали поля и фермы, опытные участки и передовых доярок. Всё это куда-то очень быстро девалось: уже года через два на месте бывшего передового совхоза стали возводить другие – совсем городские – двухэтажные (деревянные) и пятиэтажные (кирпичные) типовые строения, демонстрируя таким образом «смычку города и деревни», о которой тогда много писали в газетах и говорили по радио.

Улицы Подлесная и Калашная находились совсем рядом с Вологодской-рекой, и прямо из нашего огорода открывался величественный вид

на Софийский Собор и колокольню – на то место, которое уважительно именовалось Кремль или Музей, или Центр. Стоило с нашего берега перейти на другой берег по недалежному Большому мосту (или лучше – переплыть на «перевозе», которых в те времена было несколько), как ты попадал уже в иную топографию. Кремль был, правда, весьма условным (просто – стены Архиерейского подворья), зато напротив красовалось действительно могучее здание под названием «Банк». Здесь, как мне объяснили, хранились деньги – и потому я сразу же преисполнился к Банку чувством отдаленного почтения.

А за Банком был Базар – там много людей торговало всякими вкусными и не очень вкусными штуками. И бабушка иногда ходила туда торговать; сопровождая ее, я очень стеснялся этого «непролетарского» занятия и всё спрашивал бабушку, почему она нынче будет продавать огурцы или крыжовник. Бабушка мудро и задумчиво отвечала:

— Базар цену скажет!

Этот базар располагался тоже возле какого-то храма (еще XVI столетия!), превращенного в мясной павильон. Ни купола, ни креста над храмом давно не было, а торговля мясом в храме Божиим воспринималась в ту атеистическую эпоху естественным делом. Торговцев было в 1950-е годы много: колхозники из окрестных деревень привозили и мясо, и молоко, и яички, и грибы – в надежде получить живые деньги на свои непрехотливые нужды.

Другая церковь – тоже оплот вологодского Центра – стала важным культурным учреждением: собор Спаса Обыденного был превращен в кинотеатр, которому дали имя великого пролетарского писателя. Так и говорили в Вологде: кинотеатр Горький. Хороший был кинотеатр: два зала – большой и малый; последний, как водится, располагался в алтаре... Будучи совсем маленьким, я, помнится, задавался вопросом: почему кинотеатр – «горький»?

Между «мясным» и «киношным» древними храмами располагалась еще природная достопримечательность вологодского Центра: речка по имени Золотуха. И сама Вологда-река была невеликой и несудоходной, а Золотуха, ее приток, и вовсе напоминала ручеек. Через неё тоже было два моста: один каменный (сооруженный еще в XVIII столетии), и еще деревянный, воспетый в старом стихотворении Александра Яшина:

Как подъедешь ты ко городу ко Вологде,
Где хотел царь Грозной править-володеть,
По постоям не ходи, а правь по площади
По базарной, где в продаже скот и лошади,
Где воза с ржаной соломой и сенцом стоят,

Где водой проточной бабы скот поят.
Проезжай, где горы лому, горы хворосту,
По-над речкой Золотухой прямо по мосту
По сосновому, еловому, по шаткому
Со своим конем соловым, со лошадкою...

Говорили, что Золотуха – это совсем даже и не река, а какой-то ров, вырытый неведомо зачем пленными татарами. В мое время в эту речку (или ров) сбрасывали всю вологодскую нечисть и прочие отбросы, и вода в ней была густой маслянисто-помойной консистенции и чудного рыжеватого цвета – потому-то и получила речка название детской болезни.

Обозначенное вологодское пространство я и осваивал в течение первых десяти лет своего бытия. Осваивал не сразу, а постепенно: по мере того, как научался воспринимать и познавать вологодский мир.



В. Кошелев – первоклассник.

Первые радости

Первая запомнившаяся радость: я сижу на отцовской голени, на черном блестящем хромовом сапоге, а отец, положивши ногу на ногу, раскачивает меня. Я подпрыгиваю, уткнувшись носом в кожу сапога – и повизгиваю от счастья. Помимо захватывающего ощущения полета, я испытываю удовольствие от непривычного запаха – то ли самой кожи, то ли дегтя, которым сапог надраен. Отец, молодой лейтенант в военной форме, тоже доволен – и все мы светимся от счастья в едином семейном порыве.

Отец недавно вернулся с войны (где был дважды ранен и дважды горел в своем танке ИС-2). Глядя на меня, он радуется жизни – и передает мне эту свою радость. Дома он бывает редко: служит где-то в воинской части (в тех же Красных казармах). А поскольку он бывший механик-водитель танка, разбирающийся в технике – то и служит «зампотехом»: вечно занят, вечно обременен починкой каких-то машин, строительством для этой «матчасти» каких-то «парков» или обучением неведомых водителей этих машин. Он уходит на службу, когда я еще сплю; приходит – когда я уже уснул; у него почти не бывает выходных... Поэтому видимся мы нечасто, и каждое свидание, дающее возможность попрыгать на его сапоге, воспринимается почти как счастье.

Маму я вижу чаще – хотя тоже не настолько часто, как хотелось бы. Когда отец воевал, она училась в своем Вологодском пединституте имени Молотова и получила диплом учителя русского языка и литературы. Пробовала работать в школе, – но не задалось; устроилась, как водится, в библиотеку и целыми днями выдает и принимает книжки... Я прыгаю на отцовском сапоге, а мама счастливо и тревожно наблюдает – как бы не навернулся. Я, кажется, еще не умею ходить.

А рядом со мной – бабушка. Она мудра и спокойна.

Еще одна радость. Я сижу на чужой печке. Рядом, на полатях, какие-то серые мешки. Любопытствуя, запускаю руку в один; там – черные сухари. А я уже большенький: начинаю даже говорить и понимать, что мне говорят. Достаю сухарь – и с увлечением грызу своими молочными зубами.

Хозяйка дома, где я грызу сухари, – младшая сестра моей бабушки тетя Женя (бабушка зовет ее «Еня») и ее муж, дядя Митя Торгованов. Тетя Еня – неграмотная. По причине своей неграмотности она недавно попала в страшную историю. Сходивши раз в уборную, подтерла попу, как водится, газеткой. А в газетке был как раз портрет генералисси-

муса Сталина. Непонятно, где нашлись какие-то доброты (тетя Еня грешила на соседку), которые донесли куда следует, да еще и приложили к своему доносу – в качестве вещественного доказательства – тот самый использованный не по назначению портрет. Тетю Еню сразу увезли и полгода держали в кутузке как «врага народа»: 58-я статья. Ее дочке Зине, заканчивавшей тогда школу, пришлось даже подписать бумагу, где она отказывалась от «несоветской» мамы. Но пронесло: через полгода тетю Еню выпустили, и она вернулась домой, сильно похудевшая, но зато приобретшая житейского опыта...

Муж ее дядя Митя был очень важным человеком – проводником на железной дороге. Он почти постоянно был в дорогах и чаще всего ездил в Мурманск, откуда, бывало, привозил какую-то ценную рыбу под названием «палтус». За этим самым палтусом и пришла к Торгоновым бабушка, прихватив и меня.

И вот я сижу на печке и грызу сухарь. Мне радостно, хочется поделиться этой радостью с остальными. Я откусываю особенно хрустящий кусок и удивленно произношу: «Тр-рещит!»

— Это в голове у тебя трещит! – откликается дядя Митя.

Я лихорадочно соображаю: хорошо это или плохо, когда «в голове трещит». И прихожу к выводу, что – хорошо: трещит – значит действует...

Еще одну – вдохновенную – радость испытал я в больнице, куда попал в возрасте трех лет: необходимо было вырезать аденоиды, и мама каким-то образом договорилась на проведение этой операции с ведущим вологодским хирургом по фамилии Мышалов (или, как почтительно все говорили, Докторымышалов). Для этого меня положили (одного – без мамы!) на пару дней во «взрослую» больницу, в палату, где, кроме меня, лежало еще десяток больных мужиков. Самой операции я не помню (кажется, Докторымышалов засунул мне в рот какую-то кривую железяку, после чего я выплюнул из этого рта что-то красное). Зато потом меня кормили мороженым и давали еще какое-то невиданное желе ядовито-красного цвета – совсем как те аденоиды, которые выплюнул.

А радость случилась тогда, когда я (не помню уж, до операции или после), сидя на жесткой больничной кровати, стал вслух читать взятые в больницу книги. Читать я, конечно же, не умел (едва говорить научился), но со слуха быстро запоминал то, что мне прочитают. А со мной были именно те, многократно «читанные», книжки. О чем там писалось – не помню: кажется, про каких-то белых медведей и полярников. Но это были хорошо запоминающиеся «складные» стихи, да еще снабженные цветными картинками.

Вот я сижу, читаю, страницы переворачиваю. Вдруг мужик с соседней кровати, приглядевшись, восклицает:

— Смотрите, а сопля ведь на самом деле читает: страницы, где надо, переворачивает!

Другой мужик – не поверил: тоже подошел: «Точно!» А я вдохновился. Прочитал одну книжку, другую... И всё под восторги соседей по палате, озверевших от больничного безделья мужчин. Пошли крики: «Какой молодец!» А в конце я удостоился аплодисментов – для завершения восторга артиста.

Потом я стал тянуться к этим восторгам: еще до школы с удовольствием выступал в «дворовой самодеятельности», потом в школе. И даже после школы собирался поступать учиться «на артиста», и действительно, кажется, неплохо читал. Но такой вдохновенной радости, как в первый раз во «взрослой» больнице, не довелось испытать больше никогда.

Освоение двора

Наш дом по улице Подлесной (потом – Горького), 12. Типичный «мещанский» вологодский домик, который когда-то, еще до моего рождения, приобрел мой дед по матери Александр Васильевич Судачков. Деда этого (как, впрочем, и второго) я никогда не видел: он на войне умер.

Не погиб, а именно умер: в 1942 году его (уже 47-летнего) призвали на фронт и повезли куда-то под Сталинград. По дороге он заболел и умер где-то в эшелоне, так и не доехав до фронта.

А вообще-то дед был «подгородным крестьянином», жившим до времен коллективизации в деревне Долгово, в 23-х верстах от Вологды. Мужиком был справным, в колхоз записываться не захотел, и, как единоличник, был обложен в конце 1920-х годов «твердым заданием». Одно «твердое задание» выполнил – тут же получил второе. И предпочел собраться и идти из своего Долгова восвояси. Забрал с собой мою мать (которой тогда едва пять лет исполнилось), ушел в Вологду – и устроился с ней где-то в домике у своей сестры Шуры, которая в Вологде вдовствовала. Бабушка сначала с мужем не поехала...

А дед, Александр Васильевич, так и не вернулся в Долгово. Домику его сестры Шуры, можно сказать, повезло: он не только сохранился, но теперь, оказавшись едва ли не в центре города, олицетворяет былую красоту деревянной Вологды. Дело в том, что в соседнем (двухэтажном) доме когда-то проживала сосланная в Вологду сестра

В.И. Ленина Мария Ильинична Ульянова. И весь деревянный квартал решили сохранить и «музеефицировать» как свидетельство «деятельности большевиков в Вологодской ссылке». Для моей же семьи дом, где приютился вовремя бежавший от раскулачивания дед с маленькой матерью, – на самом деле красивый! – это свидетельство выживания русского мужика в самых экстремальных условиях. Где-то уже через месяц дед «натурализовался» в городе: стал железнодорожником («составителем» поездов) и «натурализовал» и маму мою, и, естественно, бабушку.

Начал он эту деятельность, кажется, чуточку раньше «года великого перелома»: очень вовремя – потому и удалось! Устроившись в Вологде, он еще умудрился (не знаю уж, на какие деньги) обрести свой (а не сестрин) уголок: сначала купил полдома на улице Багровской, но скоро продал: участок затапливался при весеннем половодье реки Вологды (тогда она еще серьезной рекой была!). А потом успокоился, обретя треть большого мещанского дома на Подлесной – которую я, собственно, и осваивал...